

Лив¹

В нашей белой комнате было совсем темно, когда папа убивал бабушку. Я была там. И Карл — тоже, только его никто не заметил. Это случилось рождественским утром. Шел снег. Правда, по-настоящему новогодний белый снег в том году так и не выпал.

Тогда все было иначе. Это произошло еще до того, как папиных вещей стало так много, что невозможно было зайти в гостиную. И мама еще не растолстела настолько, что уже не могла выйти из спальни. Но уже *после* того, как родители сообщили о моей смерти, чтобы мне не нужно было ходить в школу.

А может, это случилось раньше... Я плохо помню последовательность событий, время для меня слилось в единое целое. В детстве дни кажутся нам бесконечными. Теперь я знаю, почему так происходит. Одна женщина объяснила мне, что в детстве с нами все случается в первый раз. Когда мы маленькие, каждый наш день полон новых впечатлений.

¹ Женское имя, в переводе с дат. «liv» — жизнь (*прим. пер.*).

Моя жизнь тогда тоже была полна новых впечатлений. И многое случилось со мной в первый раз. Например, я увидела, как умирает моя бабушка.

Наша рождественская елка висела на потолке. Это никого не удивляло — папа любил вешать вещи на потолок, чтобы использовать все пространство гостиной. Подарки он ставил на пол прямо под свисающим деревом, поэтому мы каждый год надеялись, что елочку он принесет маленькую.

В тот год в гостиной оставалось достаточно места для больших подарков, поэтому и елка нужна была небольшая. Я уже знала, что нам подарят: папа сделал в мастерской невероятно красивую детскую машину, на которой можно было ездить, а мама сшила для нее пару красных подушек.

Мои родители всегда делали подарки своими руками. Поэтому откуда мне было знать, что другим детям подарки покупают в магазине. Но мне было уже хорошо известно, что люди заводят детей, а дети получают подарки. Мы с Карлом были совсем не похожи на обычных детей. Мы просто радовались тому, что получали. Больше всего мы радовались папе и маме. Ладно, Карл иногда на них сердился, только не мог объяснить — почему.

Главной новостью того Рождества стала смерть бабушки. С нами такого раньше не случалось, да и с ней — тоже. Во всяком случае, когда она сидела с нами в гостиной в зеленом кресле и не моргая смотрела на елку, выглядела она очень удивленной. Навер-

ное, ей понравилось мое плетеное сердечко из коричневой бумаги, и она рассматривала его. Это бабушка научила меня плести такие сердечки, еще до того, как она сказала папе все то, чего ей совершенно не следовало говорить.

В тот вечер мы решили, что, прежде чем бабушка отправится дальше, она побудет вместе с нами у елки и получит свой подарок. Ладно, это мы с папой так решили. Скорее даже только я. Мама согласилась только потому, что я начала ныть.

Я сидела на полу прямо перед бабушкой, и, помню, ее ноги стояли на подставке. Ее сиреневые нейлоновые чулки были настолько прозрачными, что через них просвечивали панталоны, а коричневые ботинки постоянно сладко пахли чем-то, что защищало их от дождя. Это были совсем новые ботинки, купленные в магазине на материке. Так бабушка сама мне сказала. На ней была вся та одежда, которую я нашла в ее сумке: серая юбка, красная блузка и платок с белыми чайками. Это я настояла на том, чтобы мы нарядили ее к Рождеству — нехорошо сидеть на праздничном ужине в домашней сорочке.

С того самого вечера в ее зеленом кресле никто больше не сидел. Мы просто не помещались в нем — теперь там лежало слишком много вещей.

Поскольку бабушка не могла сама развернуть свой подарок, мне разрешили ей помочь. Сначала я подумала, что папа и для нее сделал машину, потому что в газетную бумагу был завернут длинный деревянный ящик на колесах. Оказалось, что это гроб. Без

руля и красных подушек. И без крышки. «Крышка не всегда нужна», — сказал папа. Единственное, что было внутри, — подушка, которой бабушку задушили утром.

Потом мы положили бабушку на подушку (на этот раз она была, как следует, под головой, а не на лице), и папа выкатил гроб на улицу. Пройдя мимо поленницы дров, он вывез его в поле за сараем. Карл и я поехали за ним в нашей новой машине, и, конечно же, он сидел внутри, а я толкала, иначе мы бы так и не сдвинулись с места. Потом и мама пришла. Она всегда ходила чуть медленнее.

Было очень темно, но мы уже привыкли передвигаться в темноте. В тот вечер небо было все затянуто тучами — я не увидела ни звездочки, и даже лес вокруг нашего дома и полей едва можно было разглядеть. С утра было ветрено, но под вечер ветер стих. Снег снова растаял. Рождеству, видимо, в этом году захотелось быть тихим и темным.

Мы развели костер для бабушки с помощью средства для розжига, газет и очень длинных спичек для камина, с которыми нам, кстати, нельзя было играть (хотя Карл все равно играл). Разумеется, мы сначала сняли с бабушки туфли — они же были совсем новые и защищали от дождя.

Пламя разгорелось очень быстро, и нам пришлось отойти в сторону.

Вскоре костер запылал с такой силой, что из темноты показались и кусты на опушке леса, и даже корыто с водой, стоявшее возле сарая. Я посмотрела по

сторонам и увидела сзади свою собственную тень, которая танцевала на освещенной пламенем стене сарая, и маму с папой в свете огня. Они держались за руки.

Я снова посмотрела на бабушку. Она горела. У меня вдруг неприятно заныло в животе.

— Ей точно не больно? — спросила я.

— Нет, не переживай, — сказал папа. — Она ничего не чувствует. Она уже не здесь.

Я забралась в свою машину и еще раз посмотрела на лежавшую в гробу бабушку. Папин ответ показался мне странным. Но я всегда верила тому, что он говорил. Он все знал. Это ведь он рассказал мне, что в темноте не может быть больно. Например, рыбы на дне моря совсем не замечают, что цепляются за наш крючок, а кролики — что застревают у нас в ловушке. «Темнота забирает боль» — так он всегда говорил. «Мы забираем столько кроликов, сколько нам нужно». Именно поэтому такие *хорошие* люди, как мы, охотились только ночью.

Было еще одно доказательство того, что бабушке уже не было больно — она ведь не издала ни звука, пока горела. Обычно если у нее что-то болело или ей что-то не нравилось, она кричала. Я никогда не слышала, чтобы кто-то кричал так же громко, как она, когда ей на голову свалилась целая банка тунца. Иногда бабушка могла так разозлиться, что никому мало бы не показалось.

Когда мы пришли проведать тело следующим утром, оно еще тлело. Или, лучше сказать, не тело, а то, что от него осталось, а осталось уже не так много.

Мне вроде бы было немного жаль, что бабушки теперь нет. Я была бы рада, будь она все еще жива. Она пекла такие вкусные блинчики.

Днем я решила проверить ее еще раз, но, кроме темной земли и засаленной травы, уже ничего не было видно. Папа сказал, что уже все убрал и закопал останки. Только не сказал, где именно.

Позже я много думала о том, действительно ли правильно поступил папа, задушив ее подушкой. Он утверждал, что правильно. Иначе все было бы еще хуже.

Когда папа ее душил, бабушка молчала. Она только как-то странно дергалась в кровати, пока совсем не умерла — так же, как те рыбки на дне лодки, которые вот-вот задохнутся без воды. Поэтому мы их ударили палкой по голове, чтобы они не страдали. Ведь никто не должен страдать.

К счастью, тем рождественским утром в комнате бабушки было совершенно темно. И раз она умирала в темноте, ей точно не было больно. Во всяком случае, так я думала тогда. К тому же все произошло быстро, потому что папа давил на подушку со всей силы. Все, кто рубит деревья, делает мебель, таскает дрова и разные вещи, — очень сильные. Возможно, и у меня бы получилось, потому что папа всегда говорил, что я была очень сильной для своего возраста и вообще — слишком сильная для девочки.

По правде говоря, я никогда не задумывалась над тем, какая я. Наверное, я была такой, какой они меня видели. Но иногда я видела то, чего не видели они.

* * *

Мы жили на Ховедет¹ — таком маленьком острове, который был чуть выше другого острова, большого. На Ховедет жила только наша семья, и мы со всем справлялись сами.

Ховедет соединялся с главным островом с помощью узкого перешейка, который назывался Хальсен². Сейчас я с трудом ориентируюсь во времени, но папа всегда говорил, что если идти от нашего дома через Хальсен быстрым шагом, то всего через полчаса можно дойти до ближайших домов, а еще через четверть часа — до Корстеда, самого большого города на острове. Мне всегда казалось, что Корстед — просто гигантский, но бабушка рассказывала, что он очень маленький по сравнению с тем городом на материке, где она жила. Мысль о большом скоплении людей очень меня пугала.

Мне было неуютно среди чужих людей. «Никогда не знаешь, чего от них ожидать, — говорил папа. — И ни в коем случае не верь их улыбке».

Было у жителей главного острова и кое-что хорошее — у них мы могли найти все необходимое. Можно даже сказать, что без них мы бы не справились.

Поскольку теперь папа не очень хотел уходить с Ховедет ночью, главным добытчиком в семье была я. Он уже многому меня научил, и я сама прекрасно знала, как и что нужно делать.

¹ В переводе с дат. «hovedet» — голова (*прим. пер.*).

² В переводе с дат. «halsen» — шея (*прим. пер.*)

В самом начале мы ездили вместе на грузовике. Обычно — по ночам, когда все уже крепко спали. Мы всегда находили укромное место, чтобы спрятать автомобиль, а потом тихонько пробирались во дворы и находили вещи в машинах, сараях, гостиных и кухнях. Как-то раз мы забрались в спальню к женщине, которая была настолько пьяна, что нам даже удалось стянуть с нее одеяло. Потом я еще долго размышляла над тем, что же она подумала, проснувшись утром без одеяла. Папа сказал, что видел ее на следующий день в Корстеде, и выглядела она растерянной. Еще бы! Одеяло-то было из гусяного пуха. Может быть, она решила, что оно улетело само по себе?

Это одеяло досталось моей маме, а я взяла ее старое, на которое папа чуть раньше обменял свой чудесный пресс для набивки колбас. Старое одеяло было с утиным пухом. Через несколько месяцев мы все-таки забрали пресс для набивки колбас у парикмахера, потому что решили, что он ему не нужен. Парикмахер с женой спали на третьем этаже, а пресс стоял на кухне на первом этаже. Они никогда не запирали дверь со стороны кухни, поэтому пробраться внутрь было проще простого. Тогда мне казалось, что парикмахер тоже хотел, чтобы мы забрали у него свои вещи. Или его вещи. Как же отвратительно пахло от его жены! Этот мерзкий запах доносился даже из кухни. На месте этого парикмахера я была бы очень рада, если бы кто-то вот так пришел и забрал эту жену вместо прессы. «Это такие духи», — объяснил папа.

Мамина подушка с утиным пухом долго пахла этими мерзкими духами, а когда подушку отдали мне, то она пахла не духами или уткой, а мамой. А вот от новой подушки пахло алкоголем, хотя мама не пила ничего крепче кофе со сливками, а под конец она вообще пила только воду из насоса, но об этом я еще расскажу.

Мой папа мастерски чинил окна и двери. Этому он научился у своего папы. Я никогда не видела дедушку, но знаю, что его звали Силас. А теперь папа учил меня, и я тренировалась в нашей мастерской на окнах и дверях, раздобытых нами в походах. Этого добра было много на свалке в южной части острова, и мы привозили с нее все, что помещалось в грузовик. И зачем люди выбрасывают такие хорошие вещи! Их ведь можно чинить, открывать, закрывать, играть с ними, в конце концов!

Дома, в которых стояли новые двери, мы обходили стороной — их было тяжело открыть, если владельцы вдруг додумались запереться. Но таких на острове, к счастью, было немного. Если вдруг мы не могли попасть в дом, то всегда можно было забраться в пристройку или сарай — там тоже было чем поживиться. Как-то раз мы даже забрали свинью. У нас свиньи как раз не было, а у фермера их было полно. Он бы один их всех все равно не съел. Как же я удивилась, что свинья не испугалась и даже не пискнула, когда папа взял ее на руки. Наверное, это потому, что папа хорошо обращался со всеми животными.

И у него хорошо получалось их забивать так, что они ничего не замечали. «Это тоже хорошее обращение, просто немного другое», — говорил он.

Пришло время мне идти в ночной поход одной. Сначала было как-то не по себе, потому что в прошлый раз папа вел себя странно. Мы проезжали по маленькой деревушке и на обочине дороги нашли пару длинных ржавых железных балок. Свалив их в грузовик, мы поехали дальше, но на повороте одна из них ударилась о стенку багажника, и раздался сильный грохот. В нескольких домах зажегся свет. В последний момент папе удалось свернуть на обочину и спрятаться за кустами, поэтому никто нас не увидел. На следующий день мы перетащили железные балки на второй этаж и оставили их в коридоре. «Смотри не ушиби о них пальцы, когда ходишь босиком», — предупредил папа.

Был еще один раз, когда нас чуть не рассекретили, но уже по моей вине. Я споткнулась о колпак колеса в гараже сантехника. Услышав, что сантехник открыл дверь в гараж, я тут же спряталась в углу и задержала воздух. Если бы не его кошка, выпрыгнувшая ни с того ни с сего, он бы включил в гараже свет и увидел меня. Но вместо этого он закричал: «Проклятье! Так это ТЫ тут шумишь? А ну-ка иди сюда!»

Когда я вышла из гаража, папа посмотрел на меня бешеным взглядом. Он стоял за гаражом, все видел и слышал, и тоже не ожидал, что меня спасет кошка.

Позже я поняла, как хорошо уходить в ночные походы без него. Я была меньше и быстрее, чем он, и на-

училась двигаться тихо, словно мышка. По ночам я ходила пешком, иногда бегала — для того, чтобы самой ездить на машине, я была слишком маленькая, а на велосипеде я просто не хотела. И в темноте я видела лучше, чем папа. Он часто говорил: «Будь как сова». И я была совой, хоть и не умела летать и поворачивать голову на триста шестьдесят градусов. Я пыталась научиться, но поняла, что ни то, ни то у меня не выходит. Карл тоже пытался научиться, и у него получалось чуть лучше.

* * *

Первое, что вспоминается мне о жизни на Ховедет, — это запах свежей смолы. Странное щекотание в носу, липкие ладони и нежный голос папы, который рассказывал мне о текшем по стволу соке. Папа говорил, что этот сок — волшебный, потому что может защищать от врагов, залечивать раны и навсегда сохранять тела маленьких мертвых животных. Я помню, как увидела на дереве крохотного живого муравья: он полз вверх по коре, но, обнаружив путь в обход вязких золотистых капель, на мгновение исчез в трещине. Потом он выполз — уже чушь выше, чем был до этого, — и побежал наверх.

После этого я ходила и шептала кровоточащим деревьям, что их ранки вылечатся, потому что смола — их целитель и защитник. Деревья были моими друзьями.

А муравьи были нашими общими знакомыми. Эти маленькие бесстрашные существа всегда находили до-

рогу домой: вверх по дереву, вниз по дереву, по траве, через двор, кухню, вверх по шкафу, вниз по банке с медом, через гостиную. И, конечно, они не забывали прихватить по пути гостинцы — кусочек еды или полезную в хозяйстве мелочь. Удивительно, что иногда они переносили добычу на своих мертвых родственниках.

Я не знаю, называл ли кто-то деревья за нашим домом лесом. Сколько вообще нужно деревьев, чтобы назвать их лесом? Но для нас с Карлом это был лес. Огромный-преогромный лес. Нет, даже больше. Это был безграничный мир запахов, звуков и жизни, где-то вдали сменяющийся песнями жаворонка, зарослями вереска и песколюбки, а за ними — песок, перетекающий в воду, которая оборачивалась безграничным морем.

Я не сразу поняла, что дальше есть вереск и море. Сначала для меня существовали только деревья. Истекающие кровью деревья и умный муравьишка, который умел обходить липкое золото, в котором мог увязнуть.

Потом я познакомилась и с другими деревьями — елями, склоняющими свои пушистые ветви-веера к земле, словно они хотели услышать, что же она им шепчет. Ели всегда были такими грустными, и, хотя многие из них уже выросли большими-пребольшими, было ощущение, что они тоскливо тянулись к тому месту, откуда выросли. Совсем другими были сосны — густыми и сильными, с торчащими во все стороны иголками и выпирающими шишками, и мне часто казалось, что земля им совсем безразлична. Я уверена,

что они тянулись к небу и с радостью взлетели бы, если бы знали, как вырваться с корнями из земли. Но все же я надеялась, что они захотели бы вернуться обратно. Они, несмотря ни на что, были частью Ховедет, так же, как и я.

Я больше любила ели, хоть и мечтала летать, так же как сосны.

Еще в лесу были гремучие вязы. Они прятали между елями и соснами свои стройные сероватые стволы, на которых сидели гирлянды зеленых листьев — маленьких пильчатых сердечек, поющих звонкие песни при легком дуновении ветра. Мне так нравился этот громкий звон, что я просто садилась под один из вязов и ждала, пока подует ветер. Я хорошо помню, как испугалась, когда листья при первом вздохе осени ни с того ни с сего упали и разлеглись вокруг меня на земле. И вот я сидела в озере из потерянных сердец. Потом я пыталась повесить их обратно на ветки — только на самые низкие, потому что и я была не особо высокая, — но благодаря моим усилиям на земле оказалось еще больше листьев. Я ничего не поняла, пока не позвала папу, и он мне не объяснил.

С тех пор лес стал для меня самым безопасным местом в мире. Я поняла, что все возвращается на свои места. Что цвета сменяют друг друга: от светло-зеленого до темно-зеленого, огненно-красного и золотисто-коричневого до черного-пречерного. Земляного. Что земле нужно чем-то питаться, потому что она дает новую жизнь свету. Что свет сменяется тьмой, а тьма — светом. И сердечки вырастают снова.